

**Русский акрополь
О логоцентризме между символизмом и авангардом**

О. А. Ханзен-Леве

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Аннотация. В статье речь идет о традициях логоцентризма в русской культуре, исходя из высказывания Мандельштама о том, что «акрополь» русских – это слово («О природе слова»). Этот своеобразный номинализм встречается у Гоголя, где поэтика «имени» образует тот корень, из которого разветвляется словотворчество, словесные произведения и литературные герои как персонификации собственных имен. Эта концепция сильно повлияла на мифопоэтику символизма, так же как на философию «имяславия» Павла Флоренского и оноματοпэтику Велемира Хлебникова. Исходя из последней Роман Якобсон в известной статье о поэтике Хлебникова «Новейшая русская поэзия» (1921) заложил основу литературоведческого структурализма.

Ключевые слова: логоцентризм, мифопоэтика, Гоголь, русский символизм, имяславие, философия имени, П. Флоренский, оноματοпэтика, В. Хлебников, Р. Якобсон.

УДК 82.0

Контактная информация: Hansen-Löve A. A., Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften (Geschwister Scholl-Platz 1, D-80539 München, aage.hansen-loeve@slavistik.uni-muenchen.de)

Ханзен-Леве О. А. Русский акрополь. О логоцентризме между символизмом и авангардом // Критика и семиотика. 2017. № 2. С. 52–72.

ISSN 2307-1737. Критика и семиотика. 2017. № 2
© О. А. Ханзен-Леве, 2017

Русский «Акрополь»

Может показаться курьезным, что наши размышления о логоцентризме мы должны начать именно со Льва Троцкого – великого «Антихриста» русской Революции. Но это был как раз он, кто в своей тонко просчитанной, равно как и уничтожающей, критике современного авангарда, пришел к следующему заключительному выводу. В знаменитом труде 1923 года «Литература и Революция» формальная школа, формалисты в лице Виктора Шкловского, Романа Якобсона, а также и футурист Велимир Хлебников и другие авангардисты характеризуются им как «гелертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства. На формалистах лежит печать скороспелого поповства. Они иоанниты: для них “в начале было слово”. А для нас в начале было дело. Слово явилось за ним как звуковая тень его» [Троцкий, 1923].

Таким образом, наряду с тенденцией постмодернизма к устранению логоцентризма вообще в самой сердцевине модернизма присутствует действующая, левоутопическая и культурно-революционная критика логоцентризма, направленная против власти слова с позиции действия да и самой действительности. Так как именно культ языка, такой типичный для русской языковой культуры, был для людей действия – как зачинщиков, так и исполнителей – с самого начала бельмом на глазу.

Обращаясь напрямую к фаустовскому «Сначала было действие», именно Лев Троцкий приложил топор к корню всего зла – можно сказать, к языковому корню, упрекая представителей русского литературного модернизма, конкретно формалистов, в том логоцентризме, который, в свою очередь, подверг фундаментальной критике – хотя и по другим, и даже противоположным причинам – полвека спустя Жак Деррида.

Вся подоплека упрека Троцкого в «иоаннитстве», предьявленного цветку современной литературы, прояснится, однако, только в том случае, если принять во внимание специальную русскую форму логоцентризма, на которую ссылается Троцкий. Это прямо-таки религиозный культ языка, который в то же время Осип Мандельштам выразил следующим образом:

У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории [Мандельштам, 1990, с. 180].

Когда Мандельштам говорит о «номинализме», то он, несомненно, имеет в виду не тот противоположный полюс «реализма» в споре схоластиков средневековья, напротив, он воспринимает номинализм дословно, как языковое понятие, которое наделяет слова статусом имени, точнее, «говорящего» имени: не философский номинализм, следовательно, а язы-

ковой реализм формулы «*nomen est omen*», слово как имя несет в себе свой «*omen*», и наоборот, «*omen est nomen*». Так как «*omen*» претерпевает свою специфичную вербальную участь, превращая всю жизнь в язык.

Это именно тот глубоко укорененный словесный культ, который Троицкий дискредитировал как «скороспелое поповство», неизбежно выдавая при этом ту правду, которой он, вероятно, придавал решающее значение: правду творящих мир слов поэта, которые он хотел бы видеть замененными на действия революционера (то есть и на свои собственные).

В дальнейшем речь пойдет не столько о теологии Логоса, сколько о феномене логоцентризма или даже о филологии, навязчивом представлении о вербальности, которое было дискредитировано в ходе постмодерна – прежде всего после вердикта Дерриды против Логоцентризма в его *Грамматологии* (Париж, 1967).

**A nose is a nose – a name is a name:
назад к Гоголю**

Неоднократно цитируемая мысль о том, что вся русская проза – да и литература – вышла из гоголевской «Шинели», относится в высшей степени к логоцентризму *à la russe*. Ведь именно в ней акт наделения именем достигает в полной мере гротескного преувеличения: наделение именем как творческий акт, произношение букв и звуков как создание носителей имен: звуки создают людей (звуко-люди).

Во всяком случае для Бориса Эйхенбаума – тоже логоцентрика, которого Троицкий держал на учете в своем черном списке, – в его новаторском исследовании под удачным названием «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1920) повествовательная техника «сказа» очевидным образом связана с наделением именами фигур рассказа. Имена говорят сами за себя; их носители выступают олицетворениями или, вернее, воплощениями собственных имен и фамилий.

Один из современников Гоголя вспоминает о его фетишизме по отношению к именам, из вербальных и артикуляционных реальностей которых в итоге разворачиваются биографии их носителей. Таким образом, исходный пункт жизни героев – это не день рождения, а именины, как ежегодно повторяющиеся «дни ангела», в образе которого повторяется лицо носителя имени. Это метафизическое двойничество (между ангелом-хранителем и человеком) иронизируется в следующем анекдоте, где звуковой жест имени гротескно разворачивается в физиогномику и даже биографию носителя имени.

У Флоренского этот принцип «развертывания» реализуется не в рамках гротеска (в традиции от Гоголя до Белого), а в духе православной иконографии «слово-образа» в иконописи или в имяславии. Здесь гротескное, карнавальное тело целиком подвергалось сублимации в духе «трансуб-

станции» или «преобразования» – в отличие от принципа «метаморфозы» в (мифо-)поэтике гротеска (или в поэтике «реализации метафоры») у Белого или Хлебникова в поэтической лингвистике Якобсона):

На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: «А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?» – «Право, не знаю», – отвечал я. «А вот я вам расскажу». И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделял совершенно серьезно [Эйхенбаум, 1969, с. 310].

То, что у Гоголя почти телесным образом реализуется как гротескный прием типизации человека через физиогномическую характеристику «звуковых жестов» имен и фамилий, у Флоренского понимается как «народное представление именной типологии», цитируемой в его «Ономатологии» как пример того, что у Якобсона описывается как «народная этимология»:

Одним из памятников такого рода руководств, письменно закрепленным осколком целой культуры имен, можно представить известный «Рэ-эстр о дамах и о прекрасных девицах [...]

Постоянная дама Варвара.
С поволокою глаза Василиса.
Кислой квас Марья.
Веселой разговор Аграфена.
Великое ябедство Елена.
Наглая спесь Маремьяна.
Толста да проста Афросинья [...]
Приятна в любви Наталья.
Пирожная мастерица Феодора. [...]
Ленивая походка Нелина.
Насмех поднять Каптелина. [...]
Хвост поднять Марфа. [...]
Бзнуть и пернуть старая дама Соломенида.

[Русские народные картинки, 1900;
Флоренский, Имена, 1993]

Фольклорный прием «таблицы имен», как и вся лубочная культура, служит Флоренскому, как мы увидим позднее, подтверждением православной «Ономатологии»; для Гоголя и его преемников подобные списки играют, между прочим, поэтическую роль сериализации с целью доведения до абсурда всех типологий или типизаций, столь популярных в реа-

лизме. В конце статьи мы познакомимся с совсем неожиданными функциями этого приема в «Мертвых душах».

Но вернемся под покрывало «Шинели» Гоголя, в котором свернуты все имена и судьбы бедных писарей и писателей, носящих говорящие имена и фамилии, как Гоголь и его герои. Один из самых бедных – Акакий Акакиевич. Как носитель какофонного в дословном смысле имени он прямо-таки воплощает собой формулу «*poten est oten*», написанную у него на лбу с рождения:

Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выскан-ным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: ...

Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, подумала покойница, имена-то всё такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифиллий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание», проговорила старуха: «какие всё имена, я право никогда и не слыживала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифиллий и Варахасий». Еще перевертели страницу – вышли: Павсикахий и Вахтасий. «Ну, уж я вижу», сказала старуха: «что, видно, его такая судьба. Ну если так, пусть лучше будет он называться как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий».

Таким образом, Акакий – дословно «без зла» – в буквальном смысле слова принимает крещение во имя отца и одновременно высокое посвящение в литературу, известную ему как рядовому писарю только в ее бюрократическом варианте.

С некоторым преувеличением, для ономастопозтики Гоголя не таким уж и неуместным, позволительно сказать, что все его художественное творение выскользнуло из словесной шинели его собственного имени: Го-го-го-голь. Здесь повторяется гротескным образом то анаграмматическое рассеивание божественного имени – ЯХВЕ – над святым текстом.

Редупликативная основа гоголевского имени (как и отсылающая к орнитологии этимология «гоголь» → так называемая утка кряква с ассоциацией утиный нос → птичий нос Гоголя и т. д.) указывает на постулированное Якобсоном фундаментальное, в том числе и для Набокова, значение звуковых повторов. В этом свете мы лучше понимаем детский вопрос «почему Мама и Папа?» у Якобсона и значение набоковских объектов вербальной эротики, таких как «Ло – ли – та», чтобы привести только один из бесчисленных примеров: все эти Чи-чи-ковы, Го-доты Бекета, Цинцинаты Набокова артикулируют противоположность библейскому завету: достаточно ограничить свою речь на «да – да» и «нет – нет». Может быть, в этой формуле скрыт Дадаизм 10-х гг. XX в. Неслучайно именно Набо-

ков в своем исследовании о Гоголе указал на языковую форму авторского имени.

About that time a chapter of a *Historical Novel* [...] appeared in *Northern Flowers*, which was a literary magazine edited by Delvig [...] The chapter of the historical novel is signed «ОООО». This quadruplet of zeros is said to be founded on the fact of there being four «o»s in «Nikolai Gogol-Yanovsky». The selection of a void and its multiplication for concealing his identity is very significant on Gogol's part [Nabokov, 1944, p. 26–27].

В то время как у Гоголя весь текст реализует, разворачивает и распространяет имя автора, имя рассеивается по словесным полям, сея при этом в языковой мир рассказа и нулевую форму. И если серфинг в Интернете можно осуществить через «Google / гугл», то серфинг сквозь вербальный интертекст – через «гоголь».

Вопрос Якобсона «Почему [мы говорим] Папа и Мама?» отсылает нас к первоначальной сцене клеточного деления, своего рода фонетического, ритмического, синтаксического «клонирования» элементов, которые вносят в язык дальнейшие дубликаты и вербальных двойников. Целые стада овец сорта «Dolly» населяют словесные поля Гоголя, где они мирно размножаются сами из себя. Этому противостоит гумбольдтовский идеал гетеросексуального словесного зачатия, когда некто порождает с некоей нечто третье. Гоголь, несомненно, является сторонником гетеродоксной, не генерирующей редупликации...

«Языковой миф» русского модернизма

В любом случае отнюдь не является случайностью, что концепция языкового мышления Вильгельма Гумбольдта – вместе с самим понятием – именно в России нашла огромный отклик – будь то в XIX веке в языковых теориях Александра Потебни, будь то с начала XX века в языковом реализме русских символистов – особенно Андрея Белого и Вячеслава Иванова.

Гумбольдтовская формула творческого языка как человеческого органа мышления действовала повсеместно, причем для русского логоцентризма было типичным представлением, что живое, творческое слово (слово – логос) является пульсирующим ядром не только языковой, но и культурной коммуникации общества как и его причастия, чье сознание, да и жизнь замирает и превращается в камень, когда это вербальное сердце бьется все медленнее и в конце концов закосневает. И, наоборот, с этим связывается архаическая и утопическая идея, что с реанимацией языкового ядра автоматически оживляются все жизненные и мыслительные процессы, приобретаемая при этом творческий потенциал.

Таким образом, в постоянном процессе обновления культурных микро- и макрокосмосов вербальным посредникам отводится центральная роль. Более того, «поэтическая речь» понимается значительно шире, чем лирическая или прозаическая: перешагивая через литературные границы, она массивно воздействует на все другие формы индивидуальной и общественной жизни. Этим объясняется и то особое, необычное для всех других европейских культур положение, которое занимает поэт в русской культуре, стоящей под знаком поэтики-ноэтики для всех и вся – как для философии, так и для правильной жизни и политических и общественных истин.

На этом фоне становится ясным, в какой мере поэты модернизма на пороге двадцатого столетия должны были бороться за то, чтобы разрешить коллизию искусства и жизни в пользу автономного жизнетворчества. Если реалисты исходили из того, что творчество, как и поэзия, должно было беспрекословно подчиняться жизни, она, в свою очередь, требует для себя в точности противоположного воздействия: новое слово создает новую жизнь и новый мир, открывая заново первобытное жизненное словесное семя / ядро / зерно в словах. Поэтическая речь регенерируется через внутренние текстуры пратекстов и создает, таким образом, будущие текстовые миры.

Символисты, как и формалисты, и авангардисты, постулируют порой противоречивым образом основную формулу: форма, сигнификанты, язык создают новое содержание. Формула Христа у Иоанна «Слово стало плотью» маркирует инкарнационные, как и христологические, истоки развертывания мировых и жизненных текстов из семантически-символической двойной спирали вербальных (первоначальных) «генов», чей миф создания и рождения стоит у истоков языковой и мировой истории.

Следы этого дионисийского / христианского мифа инкарнации / воплощения Логоса в «творческом слове» неслучайно встречаются и у футуристов, которые – не всегда справедливо – критиковали звуковые повторы у символистов как чисто орнаментальные, бессодержательные украшения ненужных текстов: «...у писателей до нас инструментовка была совсем иная, [...] па – па – па | по – пи – пи | ти – ти – ти | и т. п.» [1913. «Слово как таковое», 2015, с. 55]. И наоборот: «...мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф...» [Там же, с. 55].

Гумбольдтовская идентичность языка и творчества, вербального посредника и всего интермедиального поля и, таким образом, творчества и культуры провоцирует впоследствии в постмодернизме – как будет показано позднее – фатальное обратное движение, в процессе которого вербальные сигнификанты лишаются власти, как и связанные с ними семантические потенциалы. У формалистов этот процесс описывался как «окаменение» или «автоматизация» приемов, «формы», сигнификантов.

Типологическое противопоставление символической и футуристически-архаической ономастопэтики выходит за рамки данной статьи. Так для эстетики раннего символизма («декадентства» 90-х гг.) действует общая тенденция к «анонимности», т. е. к нигилированию всего, что связано с именем, и, таким образом, эссенциального, позитивного понимания языка (достаточно вспомнить о псевдониме И. Анненского «Никто», превращающего анаграмматический звук собственного имени в одно из ключевых слов раннесимволистской семантики).

Этому соответствует также типичная для раннего символизма относительная взаимозаменяемость текстов отдельных поэтов между собой (ввиду сходства или же почти тотальной синтагматической взаимосвязанности отдельных текстов, обеспечивающей им возможность ссылаться друг на друга), как и способность отдельных поэтов (прежде всего, Брюсова) публиковаться под разными именами – псевдонимами, одновременно (достаточно вспомнить о ранних альманахах под несколько вводящим в заблуждение названием «Русские символисты»).

При этом следует учитывать то, что псевдонимика раннего символизма (90-х гг.) имеет как предпосылку романтическую мистификацию либо же соответственно ссылается на нее иронически. Романтическая мистификация авторского имени корреспондирует с мистификацией происхождения текста, амбивалентности фикциональности и фактичности авторства. Псевдоним маркирует конституирующую текст разницу между биографическим и литературным автором, который, в свою очередь, может быть разложен на множество голосов и ассоциируемых с ними дискурсов.

Непосредственным соответствием архаизмам или неопримитивизмам Хлебникова является мифопоэтическая модель символизма («религия творчества» с 1900 по 1907 г.), реализующая в известной степени платонически-идеалистический вариант имени-мифа. В противоположность «пустой анаграмме» раннего символизма (по аналогии к его «пустой герметике»), кульминирующей в сведении имени Бога к 'ничто' или 'дьяволу', мифопоэтический символизм после 1900 г. возвращается к античной и христианско-иудейской концепции имени, причем – как это происходит у Хлебникова – персональная идентичность авторского Я не коллидирует с персонификацией имени и не заменяется им. Скорее можно говорить о ресимволизации архаической природы имени. Это относится и к имени автора: «Белый», включающегося без затруднений в парадигму мифопоэтической цветовой символики символизма.

Следует коротко упомянуть значение имени в гротескно-карнавальной модели символизма (в поэзии с 1905 г., в прозе еще раньше, прежде всего, у Сологуба и Белого), прибегающего к гротескной функции имени в поэтике Гоголя и раннего Достоевского, с одной стороны, а стало быть, к концепции этимологического («говорящего») имени, с другой – к имени как персонификации языковой жестики в рамках практики «сказа». Здесь

можно также говорить о метонимическом использовании имени, против чего этимологизирующее имя подчеркивает метафорический аспект (отчуждая его при этом). Прекрасным примером этой тенденции является следующее стихотворение Сологуба 1906 г., представляющее ироническое развертывание имени «Вячеслав»:

Что звенит?
Что манит?
Ширь и высь моя!
В час дремотный перезвон
Чьих-то близких мне имен
Слышу я.
В легких вздохах дальних лоз,
В стрекотании стрекоз,
В зраке пестром теплых трав
Реет имя ВЯЧЕСЛАВ.
Вящий? Вещий?
Прославляющий ли вещи?
Вече? иль венец?
Слава? слово? или слать?
Как мне знаки разгадать?
Цепь сковать
Из рассыпанных колец?
Там, в дали долин,
Вещий хор ведет один, –
Здесь на полугоре,
Знак начертан на коре, –
Там, с вершины гор,
Острый смотрит взор.
Все взяла заря ключи, –
Травы слухи и в ночи.
В сочетаньи вещих слов,
В сочетаньи гулких слав,
В хрупкий шорох ломких трав,
В радость розовых кустов
Льется имя ВЯЧЕСЛАВ.

Особенно впечатляющий развернутый языковой номинализм мы находим в прозе Андрея Белого. В своем первом, посвященном русской революции 1905 г., романе «Петербург» Белый не столько вывел упомянутый генезис имен-слов из «духа музыки», сколько позволил себе в прямом смысле слова выпрыгнуть из билабиального изначального клонирования, описанного выше.

И все же именно эта оноματοпоэтическая первоначальная сцена несет в себе зерно смерти: поднимающийся из подсознания бормочущий шар оказывается не только олицетворением глобуса, но и бомбы, тикающей

на протяжении всего романа. Та, что предназначена гонимым эдипальным комплексом сыном Николаем Аполлоновичем для (сверх)отца Аполлона Аполлоновича. То что эта вербальная бомба в конце концов разрывается в туалете – то есть в некотором роде взрывается в обратную сторону – относится к комическому плану нашей космической ономотологии:

Старое возвращалось: нет, старое не вернется; если старое возвращается, то оно глядит по-иному. И старое на него поглядело – ужасно!

Все, все, все: этот, солнечный блеск, стены, тело, душа – все провалится; все уж валится, валится; и – будет: бред, бездна, бомба.

Бомба – быстрое расширение газов... Круглота расширения газов вызвала в нем одну позабытую дикость, и безвластно из легких его в воздух вырвался вздох.

В детстве Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал попрыгивать эластичный комочек, не то – из резины, не то – из материи очень странных миров; эластичный комочек, касаясь пола, вызывал на полу тихий лаковый звук: пёпп-пелпёп; и опять: пёпп-пелпёп. Вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка-господина; господин же толстяк, став томительным шаром, – все ширился, ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть.

И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук:

Пёпп...»

«Пёппович...»

«Пёпп...»

И он разрывался на части.

А Николенька, весь в бреду, принимался выкрикивать праздные ерундовские вещи – все о том, об одном: что и он округляется, что и он – круглый ноль; все в нем нолилось – поллилось – ноллл...

По сравнению с этим в имени-символе символистов доминирует экспрессивная функция «звуковых жестов» (ср. «глоссолалию» А. Белого с его ориентированной на Вунда теорией «звуковых жестов»). Символ посредничает, он является медиумом между говорящим (автором) и слушающим (человеком и богом) (или *vice versa*): «Символ же есть Жизнь посредствующая и опосредованная [...] струящихся через нее богоявлений» [Иванов, 1974, с. 646].

Сам символ посредничает между гетерогенными парадигмами и этиаблюет, таким образом, «корреспонденции» между различными сферами действительности, вступающими друг с другом в отношения либо реально-онтологически, либо лишь «герменевтически», т. е. как продукт смыслонаделения, наступающей как следствие энергетической, эвокативной, суггестивной действенности религиозного и поэтического дискурса. Именно эта посредствующая функция символического (ее «условность») строго отклонялась футуристами [Литературные манифесты..., 2000, с. 70–71]; для них речь шла не о сообщении смысла, «герменей», загады-

ваемом герменевтическим реципиентом, целью являлась не реституция некоего «отсутствующего», а о дословном «представлении», являющем присутствие вещественной эвиденции имени-слова, его «вещности», *paris pro toto* представляющей тотальность языкового мира (космического «языкового тела»).

Так же и символисты отождествляли «наименование» и творение мира. Земной «слово-творец» действует аналогично и символично в духе космического «миро-творца», который, будучи «космическим художником», произвел вещи природы. Называя содержание по имени теургический художник превращает их в «вещи». Художник Адам действует в мифической функции творителя имен-вещей: «Именуя содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, мы бесформенность хаоса содержаний превращаем в ряд образов...» [Белый, 1910, с. 120].

Павел Флоренский: «Имяславие»

При всей схожести между реально-символической концепцией именно символа у Вяч. Иванова или у Флоренского (не говоря уже о Лосеве и «имяславцах») и архаической оноματοпозитике существенная разница заключается в том, что в символизме и в сродных с ним системах понятия 'имя' и 'идея' (либо концепт) являются в значительной мере синонимами, в то время, как в архаизме разграничение между земным и небесным миром отсутствует полностью.

В отношении философии языка Флоренский – полный сторонник традиции Гумбольдта, когда он сводит мышление и язык в одно целое и провозглашает философию филологией, не доносящейся в форме монолога с кафедры, а вырастающей из «живого слова» – формула, повторяющаяся у позднего Бахтина. Из этой (греческой) перспективы логос для Флоренского и его логоцентриков означает всегда выражение и содержание одновременно, причем называние в органическом языковом мышлении всегда является наделением именем. Тот, что носит имя, становится из мертвого объекта обозначения живым партнером диалога, в котором он в ответе за речь.

В особенности воспринятое Ивановым представление о «развертывании» (мифопозитического) текста из первоначального имени пребывает в дуалистической концепции «эманации» пра-бытия (Бога, высшего существа, значит – имени) в космические сферы. Этой вертикальной концепции «*evolutio*» противопоставляется в архаизме Хлебникова «горизонтальная» концепция всеприсутствия «частей имени» в имени как целом. В концепции Соссюра (в интерпретации Старобинского) членораздельность слов(а) сравнивается с «куклой», члены которой образуют ту фигуру, которую только «*roeta vates*» («вещий» – «вящий») в состоянии читать под уровнем «фено-текста».

В этом контексте две возможности именованя сосуществуют в мифопоэтике или ономотологии:

- во-первых, установление имен для вещей в акте сотворения мира (отцовский творец мира или текстов – «а(с)тор mundi», Адам-Кадмон);
- во-вторых, передача «генов» языка через «расчленения» Слова / Логоса Сына Божия (Диониса или Иисуса Христа): представление «семемов слов» как «семена», рассыпанные / высеянные на Землю, или тексты (Флоренский, «Строение слова»). Таким образом, присвоение имени, понимается как половая, генеративная передача «семян» – «семем», из которых развертываются «semeia», т. е. «вести», «paroles» – «слова» как «тексты» (Logoi, Wörter als Worte, см. средневековый термин «Логос-Слово» как название жанра, дискурса: «Слово о полку Игореве», «Слово о благодати...»).

Для Флоренского «Логос-Слово» надо понимать, как синтаксический и в то же время текстуальный феномен (Платон – Сократ у Флоренского, «Термин»). Мышление и речь с этой точки зрения тождественны («Диалектика», ср. то же у Гумбольдта): мышление – это что-то вроде говорения, речи внутри души (внутренняя речь Выготского), всякое представление – это речь, не столько направленная к другому, сколько к себе самому. Здесь принцип устности, присутствия говорящего в самом акте со- и приобщения, несомненно, ставится выше, чем медиум графического текста, принцип «письменности», где автор может принципиально и отсутствовать. Известная критика лого-, фоноцентризма у Деррида явно направлена против Платона и тем самым против метафизики как таковой. Вместо логоцентризма можно пользоваться и теологическим термином «Христоцентризма», противопоставленного в нашем контексте представлению «книги мира», автор которой сам Бог или, в микрокосмосе здешнего мира, «автор».

У Хлебникова и будетлянских представителей «словотворчества» с целью сотворения Нового мира (кода, языка) христологическая концепция генеративной передачи «семем – семян – семейонов» доминируется представлениями о сотворении мира, космоса «из ничего», т. е. антигенеративным способом. У защитников христо- и логоцентрического принципа доминирует экспрессивное представление о рождении текста из «зерна»-Логоса.

Этой идеи придерживаются, как и следует ожидать, некоторые символисты (и Флоренский), но и те футуристы и авангардисты, продолжающие думать и писать в категориях выражения «внутреннего» во «внешнем», «зерна» в «растении», «слов» в действиях («имя-действие»). Таким образом, неудивительно подтверждение идеи «инсеминации» и «рождения» первобытного родного языка в мифопоэзии футуристов: «делалось все, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылучить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как «ясный

чистый честный звучный русский язык», хоть это был уже не язык, а жалкий евнух неспособный что-нибудь дать миру» [Литературные манифесты..., 2000, с. 65].

Флоренский отождествляет «внутреннюю форму» слова (ср. Потеня, Гумбольдт и символическая языковая теория) с «действенным словом», т. е. со значением слова как имени, причем этимология раскрывает и освещает в ее действительности именно эту внутреннюю суть слова.

В этом смысле у Флоренского нет разницы между понятием символа у Иванова или Белого и понятием имени. В своем докладе «Магичность слова» Флоренский заходит так далеко, что конструирует общие признаки между именами и их носителями, так как имя всегда и везде является «наиважнейшим инструментом магии».

Ономатопэтика Хлебникова

В древних космогонических мифах, как и в мифопэтике модернизма, «creator mundi» выступает как существо, являющееся одновременно творением своего собственного имени и творцом имен. Поскольку в мифическом мышлении нет различия между «именем» и «вещью», наделение именем – «номинация», и творение вещей означают одно и то же. В этом смысле можно говорить о «номинационном характере мифологического мира» [Лотман, Успенский, 1973, с. 286].

Собственная сила творения, энергетическая основа творчества заключается в свойствах имени. Имена являются не только обозначением предметов (продуктом корреляции общеупотребительных знаков и реалий культурной системы), они реализуют, скорее, знаковую либо же языковую сторону «пра-вещей», т. е. предметов в состоянии их пракультурного, праисторического, пракоммуникативного естества.

Называние имени магическим образом совпадает с сотворением вещи (О. Фрейденберг), так как законодатель имен в акте номинации высвобождает нечто из своего собственного существа (точнее, энергию своего именного свойства). Многократно этот процесс понимается как «проникновение» божественного света в земную сферу или как прямой акт зачатия, причем «се-мя» и «и-мя» (либо же «семена» и «имена») также отождествляются, как и – в рамках символики – «книги мира», «имена» и «письмена».

В какой-то мере криптическая схема Р. Якобсона семиотически мыслимых отношений между сообщением и кодом предусматривает, помимо объектно-языковых (сообщение → код), метаязыковых (код → сообщение) и построенных на цитатах (сообщение → сообщение) отношений, также тот случай, когда код ссылается на код (...). В качестве типичного примера такой циркулярной ссылки рекламируется (собственное) имя (имеются ли также и другие случаи, однако, не проясняется). Эта, с трудом восприни-

маемая, корреляция между кодом и кодом, представляющая собой нечто вроде научного мифа, неожиданно проясняется с позиции архаического (подсознательного и мифопоэтического) «языкового мышления».

В этом, в некотором роде прасемиотическом, «конкретном мышлении», «мышлении с помощью вещей» (К. Леви-Стросс) амбиваленция между «вещами» и «именами» образует предварительную форму семиотического отношения между предметом и знаком, *signatum* и *signans*. Фундаментальная «différence» между двумя сферами (биосферой и семиосферой, миром *realia* и миром *signantia*) еще не наступила. Корреляция код \Leftrightarrow код мыслима только как взаимозависимость двух форм проявления одного и того же кода, в котором (вербальные) знаки выступают в качестве обратной стороны «вещей» в форме «имен», и наоборот. Неопримитивистское, архаическое восстановление этого языкового мышления оперирует (в символизме, как и в футуризме) понятием «слово-вещь», или на абстрактном, более герменевтическом уровне древним топосом «книга мира».

Хлебников ссылается, как во всех остальных обоснованиях «слово-творчества», на творческую компетенцию архаического человека, наделять все существа своим именем: «Первобытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной». Из этого он выводит стремление футуристов: «Мы хотели всему дать имена». Это право распространяется как на надделение вещей именами, так и на самообозначение «председатель Земного шара»: «Только мы, стоя на глыбе себя и своих имен, осмеливаемся среди моря ваших злобных зрачков назвать себя Правительством Земного шара. Оно – мы».

Футуристический «ономатет» является в равной мере «пра-адамом» (будучи архаистом) и «новым адамом», подчиняющим себе новый-древний языковой мир: «Я зову увидеть лицо того, кто стоит на пригорке и чье имя Пришедший Сам». Хлебников, таким образом, может ссылаться как на синхронный адамизм акмеистов, так и на таковой мифопоэтического символизма.

Не только собственные имена в узком смысле, но и сама лексема «имя» образует исходный пункт для разнообразного расчленения и нового комбинирования: слово «имя», в свою очередь, становится магическо-мифическим «ИМЕНЕМ», так как оно составлено из «письмен», представляя имена и синтезируя во все новые именные формы.

Напротив, эти имена – само «имя имени» – показывают свои словесные члены, провозглашая некую универсальную семантическую «self fulfilling prophesy». Так, слово-тело «имя» в русском языке разделяется на два возможных слово-члена: «имя» становится «им» и «я», что буквально делает имя тем, что «я» «им» являю.

Есть целый ряд примеров того, что в поэзии Хлебникова лексема «я» выступает не только как личное местоимение, но – и в этих случаях она маркируется кавычками – как «слово-вещь» как овеществленное или пер-

сонифицированное «слово», само становящееся носителем «действий». Это относится и к другим лексемам (как и к графемам, фонемам либо морфемам), которые через кавычки (или написание с прописной буквы) выступают в качестве актанта развернутого сюжета.

Схематическое противопоставление теории имени

Хлебников	Флоренский
мифопоэтика	богословие, религия
миф	мистика
мифопоэтика	имяславие, имядействие
ономатопэтика	ономатология
поэтика / нозтика: code	сообщение, parole
универсальный язык = праязык	имя отца / логос
топология имени в яз. космосе	имя, как онтологические идеи
cisfinitum	transfinitum
заумь	слово-миф
тотальная имманентность	трансцендентность
Гераклит	Платон – Плотин
имя как свернутый код	имя как символ
развертывание имен в тексты	благовещение, нарратив спасения
свертывание текстов в имена	имя как судьба
имена как «звуко-люди»	герои / святые
Адам как «номинатор»	как носители имен
поэт как демиург	поэт как Адам-Кадмон
слова как «имена вещей»	вещи как «вещие слова», вписанные в них
имя, на поверхности текста мира	имя в глубине тайны мира
калиптика	апокалиптика
эвидентность имени	имя как выражение внутреннего
бессодержательность	существа
бессюжетность	биография, как пра-сюжет
беспредметность / вещьность	репрезентация
внешность	«внутренняя форма»
семантика движений	энергетичность
от 2-мерности к 4-мерности	безмерность, беспредельность
время, как 4-е измерение	безвременность, вечность
аперспективность	обратная перспектива
безобразность	образность = иконичность
архаические праобразы	иконопись
метаморфоза	архетипы
космические силы	преображение (Табора)
	лучезарность, иллюминация

законы (времени, мира, языка)	проекция / интродекция
математика («доски судьбы»)	историософия
таксономия	телеологичность
	целесообразность
семантика	семасиология
метонимия	метафора
homologia entis	analogia entis
система значений – парадигматика	смысл, мысль
конфигурация	становление мысли
инкорпорация, каннибализм	приобщение – сообщение
расчленение тела языка	расчленение тела спасителя
артикуляция	просодия
писмена, анаграмма	голос, глоссолалия, паронимия
писание = чтение	песнопение
дозротические отношения между мужчинами и женщинами	эротика половых соотнош.
учитель – ученик	софиология, Animus – Anima
полилог	диалог
мы	Я и Ты
порядок вещей	realia => realiora
разгадка / загадка	«ключи тайн»
аналитика	герменевтика

**От фонетической к семантической фигуре:
принцип эквивалентности у Якобсона**

Можно с уверенностью сказать, что открытие «повтора» как теоретической, так и поэтической исходной фигуры (О. Брик и др.) стоит у истоков всех аналитических методов (в том числе и структурализма). При этом речь идет всегда об интермедальной проекции последовательности элементов (синтагматическая ось Якобсона) на одновременность этих же элементов, являющихся частью таким образом возникающих новых классов значения (парадигматическая ось), т. е. об антигегельянской и антидиалектической фигуре опрокидывания, в процессе осуществления которой форма обращается в содержание, эквиваленции на уровне сигнификантов (какого бы вида они ни были) становятся ассоциациями и даже синтезами на уровне сигнификата и потому также и в прагматической сфере референтов и сознательных актов.

Создаваемые таким образом редупликативные неологизмы рассеивают свои семантические «семена» в вербальном мире, отдающем должное половому размножению языка. Они коррумпируют «естественное» создание значений (посредством референциальных функций) с помощью магической, архаической, предшествующей сознанию и, следовательно,

первобытной техники размножения, строящейся на повторах, на примитивных, соприкасающихся друг с другом ассоциациях, которые истолковываются ложным образом как аналогии. Из папы и мамы, редупликативных оральных и билабиальных форм, разворачивается вербальность, танец языка как органа тела и жестов (например, в «Глоссолалии» Белого), выливающийся в языковое тело, которое, в свою очередь, бесконечно само-размножается.

Тут приходят на ум гоголевские герои из рассказа «Нос» (1863), чьи губы каждое утро громко трубили «Бррр...». Звуковая фигура Гоголя в образе Ковалева является, говоря словами Якобсона, самим языком: конкретно, язык тела, который конкретизирует себя как тело языка чисто вербально, не нуждаясь в визуальном изображении.

Здесь становится явно ощутимым, как просодическое, вербальное присутствие фигуры полностью занимает место визуальной репрезентации – причем, таким образом, что отсутствие визуальности негативно иллюстрируется отсутствием носа. Экспрессивная артикуляция билабиального слова «бррр» представляет – без промежуточных стадий визуальной фикции – телесность героя во всей своей просодической конкретности.

Именно это тело на визуальном уровне представляется радикально дефектным. «Наш герой» требует зеркало, являющееся основным символом любого обмана зрения, для того чтобы установить, что на самой середине лица зияет пустое место. Ковалев не верит своим глазам и только при ощупывании «пустого места» пальцами обнаруживается ужасный факт: там ничего нет – или, точнее, там ничто.

В конце концов, герой Гоголя повторяет библейскую фигуру «неверующего Фомы», который способен поверить в присутствие Воскресшего только после прикосновения рукой к ране Господа. Так и Ковалев в состоянии поверить не раньше, чем дотронется до своего «болящего места» пальцами, делающими конкретные ощущения очевидными, так же как и губы в начале утренней сцены. Губы телесного языка, точнее, артикулируемое губами тело языка является собственно конкретной реальностью, в то время как глаза могут только констатировать отсутствие телесного – и это к тому же со слабой эвидентностью. Билабиальность орального принципа, следовательно, вступает в конкуренцию с визуальным и тем самым с фаллическим принципом по Лакану, причем обнаруживается именно отсутствие неартикулируемого члена.

Подобно распространенной психологеме инфантильного или патологического «вынужденного повторения» у Фрейда (*Wiederholungszwang*) в поэтическом каламбуре, который Якобсон помещает в центр своей поэтики – ноэтики, начинает действовать «удовольствие, страсть повтора» (*Wiederholungslust*) и в последствии «хитрость повтора» (*Wiederholungslist*), где чисто физиологические эффекты просодических эффектов пре-

вращаются в семантические, смысловые (ср. теорию «каламбура» в формализме или у Белого).

**«Мертвые души»:
экономия фамилий и имен**

Гоголевский Чичиков имел, как известно, блестящую коммерческую идею: для того чтобы существенно повысить свое кредитное доверие, он объезжает помещиков, прося продать ему умерших в их поместьях, но пока еще не внесенных в налоговые бумаги крепостных, а точнее, их имена. Таким образом он приобретает «мертвые души», так как душой в ту эпоху называли крепостных – порабощенную ступень той вещественной сути, которая, будучи психеей, составляла то бессмертное пусть даже и самого незначительного дитя человеческого.

Крепостные давно совершенно непосредственным образом себя «окупили», «амортизировали», так как они умерли. Сейчас они входят через другую дверь в (торговую) сделку, и на этот раз как чистые носители знаков, «сема-форы». Как имена они шагают в ряд, так как стоят в личных имущественных списках, к подвижной массе которых они принадлежат.

«...вот, например, каретник Михеев!..» Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете [...]

«А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика [...]

«Милушкин, кирпичник! Мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги [...]
А Ермей Сорокоплёхин! [...] Ведь вот какой народ!..»

Здесь мы, действительно, находимся на минусовом поле космической / комической номинации: в то время как слово творца генерирует вербальные реальности, творческий делец извлекает выгоду из посмертного именованного индекса как обеспечение экономии, торгующий не товаром либо же подложными бумагами, а единственной торговой маркой, которой располагали крепостные, – их именем. Их перепись должна была стимулировать кредитное доверие, существующее только на бумаге и, тем не менее, развертывающее великую аллегорическую историю всех торговых сделок.

«Но позвольте, – сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, – зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит половица».

«Да, конечно, мертвые», – сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил:

«Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди».

«Да всё же они существуют, а это ведь мечта».

Вся торговая сделка разворачивается все больше в один абсурдный диалог, чья собственная «пуанта» лежит не в самой торговле воздухом, а, наконец, в ее коммуникативной завязке, точнее: в вербальной сети тех обратных связей, из которых соткан весь мир экономий и таким же образом весь «teatrum mundi».

«...кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия; иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?» – «Да вот вы же покупаете; стало быть, нужен». Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать.

Торговые разговоры разворачиваются еще много страниц и, в конце концов, доходят до самых абсурдных выводов, с сегодняшней точки зрения некорректных.

«А женского пола не хотите?» – «Нет, благодарю». – «Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку». – «Нет, в женском поле не нуждаюсь».

Куда мы попали? – можем мы спросить вместе с Чичиковым. От праслов творения мы снизошли на голую землю фактов или, что почти то же самое, экономических спекуляций. Души – точнее, крепостные – мертвы, по крайней мере в их земной жизни, остались их имена, с которыми в последний раз ведется торг.

Ничто, кроме «тени звука», – может крикнуть им вслед Троцкий.

Ничто, кроме литературы, – могли бы сказать мы.

Список литературы

Белый А. Символизм. Книга статей [С предисловием и примечаниями автора]. М.: Мусагет, 1910. 635 с.

Иванов Вяч. О границах искусства // Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 627–652.

Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1973. Вып. 308. С. 282–303. (Труды по знаковым системам. VI).

Мандельштам О. Э. О природе слова // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 2 т. / Сост. С. С. Аверинцев, П. М. Нерлер. М., 1990. Т. 2. С. 172–187.

Русские народные картинки: [В 2 т.] / Собрал и описал Д. А. Ровинский. Посмертный труд печатан под наблюдением Н. П. Собко. СПб.: Изд. Р. Голике, 1900.

Флоренский П., свящ. Малое собр. соч. М.: Купина, 1993. 319 с. Вып. 1: Имена.

Троцкий Л. Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г. URL: <https://www.e-reading.club/book.php?book=1046845>

1913. «Слово как таковое»: к юбилейному году русского футуризма. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. 528 с.

Эйхенбаум Б. О прозе. Сборник статей. Л.: Худож. лит., 1969.

Nabokov V. Nikolai Gogol. New York, 1944.

Article metadata

Title: The Russian Acropolis – About logocentrism between symbolism and avant-garde

Author: A. A. Hansen-Löve

Author's e-mail: aage.hansen-loeve@slavistik.uni-muenchen.de

Author affiliation: Ludwig-Maximilians-Universität München

Abstract. The article deals with the traditions of logocentrism in Russian culture, especially the cult of the written text and the «living word», proceeding from Mandelstam's statement, that the acropolis of the Russians is constituted by the «word» («On the nature of the word») and not by the architecture of buildings. This particular type of «nominalism» (in fact it would be a verbal «realism» in the sense of the classical philosophy of language) is to be found in the poetics of Gogol, esp. in his grotesque stories «The Nose» and the «Overcoat», where the names of the heroes figures not merely as attributes but rather as the semantic essence of their verbal nature. Gogol generates a mythopoetics of the «name», from which the art of the word is developing from the seed of the word into texts and fictional characters, incarnating their proper names. In combination with the concepts of «Kratylism» (Platon) and the Humboldt tradition (Potebnja) of Language philosophy this concept strongly influenced mythopoetics of Russian Symbolism (A. Vyacheslav Ivanov, Andrey Bely) as well as the philosophy of imjaslavie, developed by P. Florensky, and the onomatopoeics of Velimir Khlebnikov. A detailed confrontation of Florensky's and Khlebnikov's «onomato-poetics» constitutes the center of the article. On the one hand we have the metaphysics of the religious philosophy (Florensky), on the other hand the mythopoetics of Khlebnikov and his archaic thinking. Proceeding from his neoprimitivist poetics Roman Jakobson generalized his structural poetics (in his «the Newest Russian Poetry», 1921) and on the whole the international movement of «structuralism». the main idea in Jakobson's «linguistic turn» is the acceptance of the verbal reality of the poetic text, analogous to the «psychic reality» in Sigmund Freud's psychoanalytic theory

of the verbal processes in the unconscious. In both cases the sphere of realistic probability (pravdopodobie, ad Jakobson has formulated it in his article on the nature of realism, «О художественном реализме») is presented.

Keywords: logocentrism, mythopoetics, Gogol, Russian Symbolism, imyaslavie, philosophy of the name, P. Florensky, onomatopoeics, V. Khlebnikov, R. Jakobson.

Reference literature (in transliteration):

1913. «Slovo kak takovoe»: k jubilejnomu godu russkogo futurizma. SPb.: Izd-vo Evropejskogo un-ta v Sankt-Peterburge, 2015. 528 c.

Belyj A. Simvolizm. Kniga statej [S predisloviem i primechanijami avtora]. M.: Musaget, 1910. 635 s.

Belyj A. Symbolism. Paper statue [With preposterous and foolhardy author]. M.: Musaget, 1910. 635 p.

Florenskij P., svjashh. Maloe sobr. soch. M.: Kupina, 1993. 319 s. Vyp. 1: Imena.

Ivanov Vjach. About the Limits of Art // Ivanov Vjach. Collected Works. Brüssel, 1974. Vol. 2. P. 627–652.

Ivanov Vjach. O granicah iskusstva // Ivanov Vjach. Sobr. soch. Brjussel', 1974. T. 2. S. 627–652.

Jejhenbaum B. O proze. Sbornik statej. L.: Hudozh. lit., 1969.

Literary manifestations from the symbolism to our day. M., 2000.

Literaturnye manifesty ot simvolizma do nashih dnei. M., 2000.

Lotman Ju. M., Uspenskij B. A. Mif – imja – kul'tura // Uchen. zap. Tart. gos. un-ta. 1973. Vyp. 308. S. 282–303. (Trudy po znakovym sistemam. VI).

Lotman Y. M., Uspenskii B. A. Mif – name – culture // Scientific notes of the Tartu State University. 1973. Vol. 308. P. 282–303. (Proceedings on Sign Systems VI).

Mandel'shtam O. E. O prirode slova // Mandel'shtam O. E. Sobr. soch.: V 2 t. / Sost. S. S. Averincev, P. M. Nerler. M., 1990. T. 2. S. 172–187.

Russkie narodnye kartinki: [V 2 t.] / Sobral i opisal D. A. Rovinskij. Posmertnyj trud pechatan pod nabljudeniem N. P. Sobko. SPb.: Izd. R. Golike, 1900.

Trockij L. Literatura i revoljucija. Pechataetsja po izd. 1923 g. URL: <https://www.e-reading.club/book.php?book=1046845>